

В. А. ТУНИМАНОВ

**ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПИСЕМ В. В. РОЗАНОВА
К Н. К. МИХАЙЛОВСКОМУ**

**(о «двойной морали», «жестокости»
и «господине с ретроградной физиономией»)**

В архиве Н. К. Михайловского (Рукописный отдел ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. № 594) хранятся 3 письма В. В. Розанова к Михайловскому разных лет (конверты не сохранились, даты в письмах не указаны; очевидно, утрачены и ответы критика-народника). В одном из них, которое можно приблизительно датировать июлем-августом 1894 года (Розанов ссылается на статью Михайловского в июльском номере «Русского богатства» за 1894 год, уточняя, что читал ее «недавно»), значительное место занимает полемика Розанова с автором «жестокоего таланта»; к этой полемике, кстати, Розанов вернется и позднее. Впрочем, письмо Розанова любопытно во многих отношениях. Приведем его текст целиком.

Многоуважаемый

Николай Константинович!

Давно меня манило переброситься с Вами словом, — и не с Вами только, но и со всем кругом писателей Вашего типа, толка. Сколько в нас родственного, как понятно мне всякое слово, Вами произносимое, как часто кроме сочувствия я ничего не нахожу в себе, читая страницы из Вас, Златовратского, Гл. Успенского; громадная, свежая струя народной жизни, живой исторической жизни, которая льется во всех Вас — вот что к Вам манит меня. Я не могу выносить только таких выхолощенных, как Викт. Гольцев, Стасюлевич, Слонимский, и вообще вся «юридическая школа» русской литературы; да еще претят такие тупые, как Протопо(по)в, или младенцы, как Скабичевский, отчасти Шелгунов. Но выхолощенного и тупого теперь, кажется, во всех лагерях довольно, не будем говорить о нем и остановимся на серьезном. Есть только одна громадная пропасть, которая разделяет меня (и я уверен — лучших из наших) от Вас и всего Вашего лагеря. Это отношение к вере, Бог. Если бы Вы имели силу в Него поверить, если бы могли с любовью взглянуть на церковь, не ненавидеть наше бедное духовенство, — о, как дружно пошли

бы мы во *всем остальном* к одним с Вами целям. И что за странность, разве уже Вам так трудно сказать в себе: «Не знаю этого, не понимаю, немощен понять — как и некоторые трудности высшей математики; но не понимая — их не отвергаю, а благословляю на труд и на проповедь всякого, кому эти вещи понятны, сердцу кого Бог говорит». Вот я слышал, что Гл. Успенский *душевно* болен и что в бреде он говорит: «Чувствую, точно черная ночь спускается мне в душу; чувствую трупный запах кругом»; — но ведь это — запах разложения души своей, ведь это ночь — темь души человеческой без Бога; что же, и Вы ждете этой ночи для себя? Надвигаете ее и на народную душу? Как достойны Вы (и Ваши все) по всему прочему быть друзьями народными, но по этому вы его враги. Эй, опомнитесь, эй, подумайте о будущем; и сожмитесь, сожмитесь в своем, верьте — только излишне *распущенном* уме, и в этой распущенности не принимающем Бога, который в мире есть порядок и закон.

Года 2 назад, прочитав Вашу статью *вторую* в ответ на дикое предложение проф. Мечникова женщинам последовать примеру гальских ос (скажите, отчего русские профессора начинают с ума сходить?), я написал Вам очень длинное письмо, долго держал его в столе — и не послал, опасаясь и пересудов, и всякого неправильного понимания моих Вам сочувствий; недавно я прочел Вашу статью о двойной морали (у Достоевского и еще кого-то), и вот меня снова потянуло написать Вам. Мы когда-то с Вами печатно спорили, но это не оставило во мне никакой дурной памяти. Кстати, посылаю Вам свой труд о Д(остоевско)м: напрасно Вы считаете его жестоким, — это гораздо более несчастный человек, слабый сердцем, великий умом; а черта жалости в нем — она есть и во всяком слишком измученном человеке: посмотрите, как мужики наши бывают жестоки со скотиной, иногда с женами; как матери очень бедные, измученные бывают жестоки к своим детям. Это — последствия его душевного состояния, а не исходная его точка; обратите внимание, что жестокость у него возростала с годами (в «Братьях Карамаз(овых)», где отец Илюшечки таскается за бороду — «мочалку», и далее — описание всей семьи). Но это — тема, дальних рассуждений требующая. Обсуждая (в «Приложениях» «Записки из подполья»), я не мог не остановиться на Вашей странной по недостаточности мысли, что «господина с ретроградной физиономией», который предложит людям столкнуть к черту арифметическое благополучие, — «свяжут». Это очень недостаточно и вовсе не опровергает гениальную диалектику «подпольного человека». Надеюсь, Вы будете так любезны, пришлете мне в обмен *оттиски* своих статей из последних годов, по адресу: С-Петербург, Петербургская сторона, Павловская ул., д. 2, кв. 24. Василью Васильевичу Розанову

Ваш искренний

В. Розанов.

Розанов — без всяких обид — вспоминает о журнальных спорах с Михайловским. Полемика, действительно, была сравнительно корректной. Михайловский в статье «Письма о разных разностях» (Русские ведомости. 1891. 25 июля) полемизировал с «вопросительными» статьями Розанова «Почему мы отказываемся от наследства?» и «В чем состоит главный недостаток наследства 60—70-х годов?», напечатанными в «Московских ведомостях» в том же году. Розанов, развивая ту же тему отказа от наследства шестидесятников, спорил с возражениями Михайловского в статьях «Может ли быть мозаична историческая культура?» и «Еще о мозаичности и эклектизме в истории» (Московские ведомости. 1892. 20 июля и 17 октября). По поводу первой из этих статей Михайловский счел необходимым объяснить подробнее в своей традиционной рубрике «Литература и жизнь» (Русская мысль. 1892. № 9. С. 151—181). Обратив внимание на то, что Розанов «сводит в своем фельетоне некоторые свои старые счеты» с ним, Михайловский исключительно резко воспринял проповедь и философию истории, особенно отчетливо выразившиеся в таких словах: «Каждый народ, век за веком возводя свою историю, должен строго хранить, чтобы ни одна часть в ней не была в дисгармонии с остальными, чтобы в их смысле, в духе, во внешних чертах развивался все один мотив, все тот же вековечный смысл, выразить который перед лицом остального человечества он, очевидно, призван Волею, вызвавшею его к бытию» (с. 165). Михайловский осудил как демагогическую эту «аксиому» Розанова: «Устраним прежде всего из этой тирады кощунственную ссылку на Волю, вызвавшую народы к бытию. Без этой Воли, как сказано, ни один волос не упадет с головы человека; это — бесконечная общая скобка, в которой совершается все, а потому и нельзя на нее ссылаться в том или другом частном случае. А если г. Розанову или кому другому вздумается из глубины собственного разума извлечь указания путей народам: одним — страдание, другим — борьбу, то вовсе не очевидно, что таково же указание высшей Воли. Не нам с г. Розановым говорить от лица этой Воли, ибо мы ее не знаем. Нам только что впору в своих собственных-то мыслях разобратся. Г. Розанов припишет высшей Воле одно, я — другое, третий — третье, и все мы будем одинаково правы или одинаково неправы» (с. 165).

Вне всякого сомнения, Розанову отчетливо запомнилась эта отповедь, что отразилось в советах Михайловскому опомниться и подумать о будущем.

Впрочем, не только непосредственно его касающиеся статьи Михайловского запомнились Розанову. Понравились ему иронические отклики критика на статью И. И. Мечникова, посвященные в некотором роде женскому вопросу. Михайловский неоднократно полемизировал со статьей Мечникова «Закон

жизни», опубликованной в сентябрьской книжке «Вестника Европы» за 1891 год, в критических обзорах «Литература в жизнь». Сначала в январе 1892 года (Русское богатство. № 1) — «В одной из толстовских колоний. — Из прошлого и настоящего гр. Л. Н. Толстого. — Poleмика с ним И. И. Мечникова»,¹ где Михайловский, в частности, так иронически суммировал рассуждения ученого: «...не могу не заметить, что у г. Мечникова какое-то странное пристрастие уклонения от нормального типа (...) Человек вообще есть, по мнению г. Мечникова, „обезьяний урод с непомерно развитым мозгом, лицом и кистями рук”. Наконец, и идеал будущего основывается им на уродстве — на отвращении некоторых женщин от брачной жизни, от любви» (с. 190). Затем Михайловский полемизировал с ученым в следующем месяце (Русское богатство. № 2) — «Личные воспоминания о гр. Толстом. — Гр. Толстой и г. Мечников, как гигиенисты».² А понравилась Розанову заключительная часть полемики Михайловского с Мечниковым в мартовском обзоре (Русское обозрение. № 3) — «О естественном и неестественном. — О задачах науки. — О будущем женщины и женском вопросе»,³ очень резкая и язвительная, где упоминаются «девственные галльские осы», «соблазняющие» Мечникова в его футурологических фантазиях. Михайловский иронизирует по поводу этой научной мечты Мечникова, который «в видах „общего блага”, желает „обособления”, дифференцирования группы бесплодных женщин в сословие или касту, подобную тем, какие мы видим у пчел, муравьев и термитов, и чтобы эта каста бесплодных женщин специально возделывала науку, причем, однако, он разрешает им и не быть „равнодушными к брачной жизни”» (с. 262). По многим причинам Розанову была симпатична эта отповедь воззрениям прогрессиста Мечникова, слишком многое приносящего в жертву «чистой» науке. И, должно быть, он с особенным удовлетворением читал пропитанные иронией заключительные выводы Михайловского: «... г. Мечников идет со знаменем науки напролом, торопливо подбирая подходящие и неподходящие предметы, не всегда вслушиваясь в возражения, разрубая узлы там, где их можно развязать, и даже не вполне ясно сознавая, зачем он делает тот или другой шаг. Все, все, все для нее — для науки! Все, даже то, чему сама наука призвана служить, — человеческое счастье. Говорят, что женская природа становится поперек дороги. Очень просто: надо ее с дороги убрать. И в своей торопливости г. Мечников отвешивает глубокий поклон даже средневековым аскетам собственно за то, что они извра-

¹ Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1905. Т. 1. С. 160—198.

² Там же. С. 198—234.

³ Там же. С. 234—268.

щали до последней степени все природные инстинкты» (с. 226).⁴

Но побудила Розанова написать Михайловскому именно та статья, которую он прочел «недавно», — о «двойной морали» у Достоевского «и еще кого-то». Неудивительно, что Розанов не мог вспомнить, с кем сопоставлял критик Достоевского: в обзоре «Литература и жизнь» (Русское богатство. 1894. № 7. С. 76—102) Михайловский рассуждал по поводу повести Е. Ардова (псевдоним третьейстепенной писательницы Е. И. Апрелевой, 1846—1923) «Выдающаяся женщина» и романа «Преступление и наказание», понимая, что такой сравнительный анализ может показаться странным, учитывая «неизмеримое расстояние в смысле серьезности замысла и художественной обработки» (с. 93). Попутно Михайловский вносит немаловажные коррективы и уточнения в свою концепцию творчества Достоевского, хлестко определенного им словосочетанием «жестокий талант». Изменения коснулись и общей тональности суждений критика: в «Жестокоем таланте» еще очень чувствуются отголоски полемики 1870-х годов. В середине 1890-х она уже в значительной степени отошла в область истории, пусть и недавней и весьма памятной Михайловскому, который, кстати, больших романов Достоевского в своей работе почти не коснулся. Здесь же он обращается именно к самому знаменитому и художественно совершенному роману писателя, отдавая ему должное: «В русской литературе есть художественное произведение необыкновенной силы, значительная часть которого посвящена учению о двойкой морали. Это „Преступление и наказание“ Достоевского» (с. 91). И далее добавляет, что роман «принадлежит к числу перлов русской литературы (черная жемчужина, сказал бы я, если бы понадобилось ближайшее сравнение в области драгоценностей), над которыми, совершенно независимо от образа мысли автора, всякому читателю приходится самому много думать» (с. 91).⁵ Оспаривает Михайловский и старое представление о тенденциозности романа Достоевского, сложившееся еще в 1860-е годы (Г. З. Елисеев и др.) и повторенное А. М. Скабичевским в «Истории новейшей

⁴ Михайловский в этой статье касается и других работ Мечникова: «Воспитание с антропологической точки зрения» (1871), «Возраст вступления в брак» (1874), «Очерк воззрения на человеческую природу» (1877). И еще раз вернулся Михайловский к полемике с этими взглядами в майском обзоре «Литература и жизнь» за 1894 год (Русское богатство. № 5. С. 108—131), откликаясь на книгу К. Фламариона «Конец мира»: «Мечта сердца нашего знаменитого ученого г. Мечникова диктует ему план отречения известной — и, конечно, значительной, потому иначе не из-за чего было бы огород городить, — части женщин от половой деятельности, дабы сосредоточить все интересы и в жизни на успехах положительного знания, проще говоря, науки» (с. 126—127). Этой мечте ученого «о торжестве положительного знания вообще» (с. 128) равно не могли сочувствовать как Михайловский, так и Розанов.

⁵ Возможно, М. Алданов, назвавший свое эссе о Достоевском «Черный бриллиант» (1921), вспомнил это «сравнение в области драгоценностей» Михайловского.

русской литературы», которое критик приводит в своем обзоре: «По глубокому психиатрическому и психологическому анализу „Преступление и наказание” достойно было бы стоять в числе первых и лучших памятников европейского искусства XIX века. Но, к прискорбию, на всех благомыслящих людей оно произвело странное впечатление тем, что Достоевский преступление своего героя Раскольникова обуславливает вдруг влиянием новых идей, якобы оправдывающих всевозможные преступления ради целей, с которыми они совершаются; не менее поражает в романе развязка его в виде нравственного возрождения Раскольникова под влиянием каторги» (с. 98). Михайловский отвергает такой тенденциозный подход к роману, — а заодно подчеркивает и свое равнодушие к религиозной проблематике «Преступления и наказания»: «До возрождения Раскольникова нам здесь дела нет. Что же касается остального, то я позволю себе не согласиться с мнением почтенного критика, довольно, впрочем, распространенным вообще. Слишком известно, как относился Достоевский к „новым идеям”, но собственно в „Преступлении и наказании” отношение его выразилось почти исключительно фигурой глупого нигилиста Лебезятникова, фигурой пока еще только смешной в ожидании тех отвратительных, которых рисовало злобное перо Достоевского в позднейших произведениях (очевидно, что Михайловский и не собирается отказываться от своей полемической статьи о «Бесах» 1870-х годов. — В. Т.). Быть может, и даже очень вероятно, что Достоевский хотел и Раскольниковым причинить неприятности носителям тогдашних „новых идей” («Преступление и наказание» появилось в печати в 1866 г.), но вышло, помимо его воли, нечто иное. Нам незачем даже наводить какие-нибудь справки об том, подлежали или не подлежали тогдашние „новые идеи” такому толкованию, что ими „оправдываются всевозможные преступления ради целей, с которыми они совершаются”. В романе эта сторона дела, если играет какую-нибудь роль, то совершенно второстепенную. В центральном своем пункте (оставляя в стороне возрождение Раскольникова, это — пристройка) роман вышел несравненно глубже и оригинальнее» (с. 98). Михайловский считает, что во всей «болтовне» Лебезятникова «нет и намек на те мысли, которые так глубоко волнуют Раскольникова» (с. 99). Михайловский ставит Раскольникова в один ряд с героями другого масштаба, привлекая терминологию А. Григорьева—Н. Страхова — с «хищными» типами, что является вполне правомерным: «Что же касается хищных, опирающихся на свои личные силы, то ближе других к Раскольникову подходят лермонтовские типы — Печорин, Арбенин, Вадим, тоже преступающие „законы” и ходячую мораль в качестве особенных, властных людей, но не выступающих, однако, в качестве носителей известной идеи» (с. 100).

Михайловский с некоторым удивлением обнаружил в «такой мелкой новинке, как „Выдающаяся женщина”», отголосок «тео-

рии двойкой морали и особых прав необыкновенных людей», отчетливо и страстно заявленный⁶ в гениальном романе Достоевского, — факт, с точки зрения критика, если не знаменательный, то настораживающий: «Я не думаю, однако, чтобы теория двойкой морали и необыкновенных людей имела у нас и теперь сколько-нибудь значительное число представителей, но они возможны в самом ближайшем будущем, как отголосок некоторых европейских течений мысли, к которым мы вообще так стремительно чутки» (с. 100).

Об этих европейских «течениях», «волне отрицания» и философии Фридриха Ницше Михайловский пишет в самом конце статьи, предваряя сюжеты целого ряда будущих обзоров «Литература и жизнь», в которых он много раз будет возвращаться к «теории двойкой морали» и творчеству Достоевского. Здесь же он ограничится лишь самой общей постановкой вопроса: «Усталая от неудачных экспериментов, разочарованная и окончательно осиротевшая и, в сиротстве своем, ничем не дорожающая и нетерпеливая мысль хочет, подобно Раскольникову, „взять просто-запросто *все* за хвост и стряхнуть к черту”. Это порождение полного сиротства личности, полной ее общественной беспричастности и есть воинствующий, практический анархизм. Не о нем, однако, хочу я беседовать с читателями, а об одном странном и, по-видимому, противоестественном его сочетании с аристократизмом особого рода, получающем ныне известное значение среди разнообразных умственных течений в Европе. Слагаясь из решительного отрицания всех существующих форм общежития, а равно и тех, которые обещаются провозвестниками „всеобщего счастья”, и из теории двойкой морали для обыкновенных и необыкновенных людей, оно имеет своих представителей и во французской литературе, и, по-видимому, в скандинавских, к сожалению, мне мало известных, но особенно ярко выразилось в философии Фридриха Ницше, быстро получившей общеевропейскую известность» (с. 101).

Розанова заинтересовали рассуждения Михайловского о двойкой (или двойной) морали, и он пожелал вступить в диалог с ведущим критиком-народником о творчестве Достоевского вообще, разумеется, припомнив и его старую работу «Жестокий талант». В очень корректной форме Розанов высказал в письме свои возражения против самой сути схемы Михайловского. Он также выслал ему недавно вышедшую (в том же 1894 году) свою книгу «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», где вступил с ним в прямую полемику в связи с трактовкой одного мотива повести «Записки из подполья» (Розанов не только обра-

⁶ Но и развенчанной Достоевским: «Она (теория двойкой морали. — В. Т.) является на помощь, потому что все-таки указывает выход, наполняет пустоту слова и понятия „жить”. Но это помощь предательская, потому что, поманив Раскольникова лучом надежды, она становится затем источником его гибели» (с. 95).

щает внимание Михайловского, где именно в книге он с ним полемизирует, но счел необходимым еще раз обозначить главный пункт несогласия). В разделе «Приложения» Розанов, цитируя речь «джентльмена с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией», выделил курсивом слова «не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить», и сделал к ним полемическую сноску: «В одной из своих критических статей г. Н. Михайловский возражает на это, что „подобного господина свяжут и уберут“. Но это — механический ответ, не разрешающий психологическую задачу. И Достоевский знал, что „убрать“ можно, но уже не „уберешь“, когда подобных будут тысячи, когда встанет человечество, ненасыщенное „арифметикой“. Д(остоевск)ий берет задачу насыщения, и кто хочет отвечать ему, — должен отвечать именно на *этот вопрос*».⁷

Нам не удалось обнаружить статьи Михайловского, в которой были именно эти, очень взволновавшие Розанова, слова. Но нечто близкое есть в его работе «Жестокий талант». Михайловский, процитировав большой фрагмент из повести Достоевского (там, где речь идет о «новых экономических отношениях», «самостоятельном хотении» и фигурирует джентльмен с ретроградной физиономией), далее утверждает, что «эта мысль может быть направлена решительно против всякого общественного идеала»,⁸ в том числе и против государственно-консервативной «утопии» Каткова. Вот тут-то, подражая иносказательно-эзоповской манере Салтыкова-Щедрина, Михайловский и рассуждает о принудительных мерах, которые могут быть применены к ретроградному анархисту: «Взять хотя бы ту же утопию бесконечной равнины, на которой раздаются только крики „Караул“, „Держи!“, „Ура!“». Кажется, что может быть мечтательнее и нелепее? А попробуй-ка запугать г. Каткова „джентльменом с неблагородной и насмешливой физиономией“, который вдруг „упрет руки в боки“ и предложит все это благополучие „отправить к черту“. Нимало не запугаете, потому что для такого джентльмена в утопии есть место и даже не место, а места — весьма и весьма удаленные».⁹

Можно предположить, что этот фрагмент, весьма своеобразно отразившись в памяти и творческом сознании В. Розанова, и явился основой для полемики с Михайловским, которую он перенес и в письмо к критику. Во всяком случае он ни разу не назвал статьи Михайловского, которую, должно быть, цитирует по памяти. В этом убеждает статья Розанова «Одна из замечательных идей Достоевского» (формально рецензия на книгу

⁷ Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития: Литературно-эстетические работы разных лет. М., 1990. С. 191—192.

⁸ Михайловский Н. Статьи о русской литературе XIX—начала XX века. Л., 1989. С. 225.

⁹ Там же.

Александра Закржевского «Подполье. Психологические параллели»; книга, судя по всему, не показалась Розанову сколь-либо значительной, и он о ней почти ничего не сказал), опубликованная в газете «Русское слово» (1911. 1 марта), где он продолжил свой спор с Михайловским: «Только в половине 90-х годов прошлого века было обращено впервые внимание на „Записки из подполья“... Позднее Н. К. Михайловский заметил, что „подпольного человека можно связать“...¹⁰ Ответил с большой проницательностью в *натуру подпольного человека*, но с полным бессилием против его диалектики. Дело в том, что Достоевский говорит, что если „всемирное и окончательное счастье“, наконец, устроится, то никак нельзя поручиться, что не явится некий господин несносного вида и, уперев руки в боки, скажет: „А не послать ли нам все это счастье ударом ноги к черту, чтобы пожить опять в прежней волюшке, в свинской волюшке, в человеческой волюшке?“ И не то важно, — продолжает Достоевский, — что такой человек явится, но то существенно, что он непременно найдет себе и сочувствие.

— Такого человека, вот так заговорившего, — возразил Михайловский, — можно связать.

Т. е. на „почесывания“ есть тюрьма, уголовное наказание, а для предупреждения „почесываний“ есть партийная дисциплина. Вообще, в том или другом виде — железо, рамки.

Это сразу восстанавливает всю государственность, или „общественный строй, как он есть“, — ну, лишь с предложением некоторых дополнений, преобразований и т. д. Но вообще Михайловский уперся в старый строй, в извечный строй, чтобы как-нибудь защититься от гениальной критики Достоевского.

Но тюрьма, оковы — не возражение. Против мысли — не возражение...».¹¹

Как видим, Розанов не только Михайловского, но и Достоевского цитирует (точнее, пересказывает) достаточно вольно. Впрочем, это обстоятельство не отменяет большой и несомненной заслуги Розанова — ему принадлежит, безусловно, самое глубокое и во многих отношениях блестящее истолкование повести Достоевского в книге «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», журнальный вариант которой появился в 1891 году. Уже тогда Розанов сказал об исповеди антигероя повести образно и точно: «постыдные признания и гениальная диалектика».¹² Розанов проницательно писал, полемизируя с традиционным взглядом на повесть Достоевского, что «„Записки из подполья“ важны каждою своею строкою, их невозможно

¹⁰ Но почему «позднее»? Уже в 1894 году Розанов опровергает эту мысль, которую приписывает Михайловскому. Несомненное хронологическое смещение; и почти столь же несомненно, что Розанов цитирует по памяти и весьма приблизительно.

¹¹ Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 490.

¹² Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. С. 59.

почти свести к общим формулам; и вместе утверждения, которые в них высказаны, нельзя оставить без обсуждения никакому мыслящему человеку».¹³ Он высказал и в высшей степени интересную мысль о мотиве свободы в повести Достоевского, процитировав и подпольную фантазию о ретроградном джентльмене: «Там (...) свободная воля человека выставляется как главное препятствие к окончательному устройению человеческих судеб на земле; но в силу этого отрицается только необходимость и возможность подобного устройства, а сама свобода оставляется человеку как его драгоценнейшая черта. Во взгляде на эту свободу там есть что-то одобрительное, и в этой одобрительности слышен бодрый тон еще неусталого человека (...) С тех пор многое в воззрениях Достоевского изменилось, нет прежней бодрости в его тоне и также нет более насмешливости и шуток».¹⁴

Позднее, в статье «Одна из замечательных идей Достоевского»¹⁵ Розанов с удовлетворением писал об удивительной судьбе «Записок из подполья» в XX в., судьбе, предсказанной им еще в 1891 году в работе, оказавшей огромное воздействие на русскую философскую и литературную мысль: «С первых лет XX века, и чем дальше, тем сильнее, внимание к ним начало расти; скажу больше — изумление перед ними начало подниматься в уровень с их настоящим значением. Теперь уже нельзя говорить „о Достоевском“, не думая постоянно и невольно, вслух или про себя, о „Записках из подполья“. Кто их не читал или на них не обратил внимания — с тем нечего говорить о Достоевском, ибо нельзя установить самых „азов“ понимания. Целый ряд писателей выдающегося успеха — Л. Шестов, Мережковский, Философов — начали постоянно ссылаться на „подпольного человека“, „подпольную философию“, „подпольную критику“... И термин „подполье“, понятие „подполье“, наконец, сделались таким же „беглым огнем“ в литературе, журналистике и прессе, как когда-то „лишний человек“ Тургенева, его „отцы и дети“ или как „нравственное совершенствование“ после Толстого».¹⁶ Розанов, подобно Льву Шестову, преклоняется перед «гениальной диалектикой» Парадоксалиста в импровизированном диалоге с героем повести Достоевского: «— Подпольный человек, — вы — гениальный человек. Что сделал для „синтетических суждений“ Кант и этим открыл свою великую „Критику чистого разума“, то вы сделали для „социального синтеза“, обнаружив, как и почему он в окончательной форме невозможен. Ваша заслуга перед социологией — такая же, как Канта перед философией».¹⁷ Но в отличие от Шестова Розанов отчетливо видел и изнанку диалектики

¹³ Там же. С. 68—69.

¹⁴ Там же. С. 126—127.

¹⁵ Ее интересно анализирует В. А. Лавров в статье: «Личная тема»: Достоевский и Розанов // *Ars Philologiae*. СПб., 1997. С. 199—200.

¹⁶ Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 490—491.

¹⁷ Там же. С. 492.

Парадоксалиста: «„подпольный человек” выразил всемирную едкость, всемирный анализ, всемирное разложение, но, конечно, мир в один час погиб бы, если бы в нем и был, в его подоплеку заложен был бы один этот анализ, огненная кислота: ей противоположно связующее масло, тяготение к всемирному синтезу, столь же мучительное, столь же тоскливое, как и анализ (...) Критика подпольного человека есть гениальная критика, умственно гениальная, но „по натуре” слабого, бессильного, страшно невоспитанного, страшно развращенного, страшно русского человека, „со всеми пороками”, „с уймой пороков”. Гениально — да. Но можно и иначе определить: раскудахтался. Ишь, какой петух выискался: всю цивилизацию расклюет. Не склюет он курочки, несущей яйца. Несет и несет, никак не может не нести. Это такое же начало мира, как петух. Невозможно курице победить петуха, но петуху тоже невозможно победить курицу».¹⁸ Вступился Розанов и за «разум», против которого с таким темпераментом боролся, вдохновенно цитируя повесть Достоевского, Шестов: «Без „разума” все-таки невозможно строить жизнь, но пусть он будет, как и все в жизни, все в человеке, все в цивилизации, скромн, деликатен, не притязателен, не нагл, не болтлив, не самоуверен. Зачем „разум” воображать с бакенбардами Ноздрева? Таким он был у Писарева, в его статейках, вас раздражавших тоном самоуверенности. Он может быть в скромном сюртуке Пастера (...) Достоевский спорил против „паричка” науки, а не против души науки, которая есть и бессмертна, и велика...».¹⁹

Противоядие диалектики подпольного человека Розанов нашел — и здесь он уже радикально расходится как с Шестовым, так и с Михайловским — в творчестве Достоевского: «„Подпольному человеку” можно противопоставить не тюрьму, как указал Михайловский, из которой при гениальных-то способностях он, конечно, убежит, но вот Алешу Карамазова, который перед „подпольным человеком” ни на шаг не посторонится... И который молчанием своим, тихостью своею заставит умолкнуть несколько болтливового „подпольного человека” (...) Вы говорите, что „все разрушите” и что „за вами пойдут”. Алеша Карамазов „не пойдет”, и, вообразите, с ним найдутся тоже „согласившиеся”».²⁰

Вот это — среди других сюжетов и идей — и хотел «обсудить» с Михайловским Розанов в 1890-е годы. И продолжал «обсуждать» уже после смерти критика, который, судя по всему, от диалога о Достоевском с Розановым уклонился, во всяком случае от непосредственного, прямого диалога. Однако и от некоторых пристрастных и резких тезисов статьи «Жестокий талант» Михайловский все-таки отошел. В одной из своих работ о сочине-

¹⁸ Там же. С. 492.

¹⁹ Там же. С. 493—494.

²⁰ Там же. С. 492—493.

ниях Ф. Ницше Михайловский, процитировав известные слова немецкого философа о «Мертвом доме» Достоевского, осторожно сопоставляет немецкого философа и русского писателя: «Духовные физиономии Ницше и Достоевского в общем до такой степени различны, что если бы Ницше знал всего Достоевского, а не только, по-видимому, „Мертвый дом“, то, конечно, усмотрел бы в его писаниях совсем иные стороны и иные окончательные выводы. Тем не менее у этих двоих столь различных людей есть нечто общее, по крайней мере в том смысле, что оба они с чрезвычайным, особливым интересом относятся к одним и тем же вопросам. Там, где Ницше ставит плюс, Достоевский ставит в большинстве случаев минус, и наоборот, но оба знают эти плюсы и минусы, оба ими до высшей степени заинтересованы, считая относящиеся сюда вопросы важнейшими, какие только могут представиться человеческому уму. Высокий интерес представило бы сопоставление всех взглядов того и другого...».²¹

Сделав многочисленные и большие выписки из разных сочинений Ницше, Михайловский приходит к выводам, похоже, несколько удивившим его самого: «Как ни парадоксально звучит все это, но для русского читателя, даже не особенно вдумчивого и памятливого, это не незнакомые речи. Достоевский хорошо знал этот круг идей и чувств (...) Мало того, огромный, прямой страшный талант Достоевского и мучительная яркость его картин и образов уяснили нам этот угол мрачной психологии лучше, чем рассуждения Ницше». Сам Ницше, весь его облик является как бы осуществлением следующего предположения, можно сказать, пророчества того безымянного «парадоксалиста», от лица которого ведутся «Записки из подполья». И тут Михайловский цитирует все тот же большой фрагмент из повести, на этот раз иллюстрирующий «пророческий» дар Достоевского: «Ницше мог бы смело подписаться под этой тирадой. Он как бы является именно предсказанным ею „джентльменом с неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией“, который предложит „все это благоразумие“ столкнуть к черту и начать с „переоценки всех ценностей“. Среди современной уверенности, что нравственная истина найдена научным путем и состоит в „благоразумно выгодных добродетелях“; что человек есть по природе своей существо преимущественно мыслящее или созерцающее или же преимущественно „возделывающее, поядющее, купующее и куплю деющее“; среди этой уверенности раздается вдруг голос не сомнения, а такой же, но бурной и страстной уверенности, что совсем не такова человеческая природа. Протест этот, если разуметь под ним призыв к пересмотру разных односторонних и в односторонности своей слишком самоуверенных решений о существовании человеческой природы, заслуживает полного сочувствия: слишком часто решения эти, не

²¹ Русское богатство. 1894. № 11. С. 116.

будучи не только надлежащим образом проверены, но даже сколько-нибудь серьезно затронуты критикой, кладутся в основание широких обобщений и важных практических выводов».²²

И это было весьма серьезной переменной позиции Михайловского, который по поводу той же «тирады» в статье «Жестокий талант» с явным раздражением писал: «И т. д., и еще несколько страниц такого же затейливого изложения той же незатейливой мысли»; «такова уж человеческая природа, что смущаться и других смущать джентльменом с ретроградной и насмешливой физиономией могут только люди, никакого собственного идеала не имеющие».²³ Суждения пристрастные, раздраженные, несправедливые — и Михайловский, по сути, от них позднее отказался.

Трудно, однако, судить о том, как воспринял Михайловский присланную ему Розановым книгу о Достоевском. Критик не сказал о ней ни слова. Скорее всего, и на «странное» и неожиданное письмо Розанова он не ответил. Точнее, ответил публично, а не в частной переписке. Почти одновременно с письмом Розанова Михайловский прочел его статью (вернее, выдержки из нее, сделанные В. Бурениным в фельетоне «Нового времени») «По поводу одной тревоги гр. Толстого», напечатанную в августовской книжке «Русского вестника» за 1895 год. Цитаты, приведенные Бурениным, вызвали неподдельный и очень естественный гнев Михайловского. Некоторые из этих выписок Михайловский привел и в своей статье, выделив наиболее вопиющие словесные перлы курсивом: «Отчего же *ты* не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь „сопротивляться злу” и — сопротивляешься даже Богу? Ты все умничаешь, выдумываешь, лепишь снова человека из глины, когда его уже слепил Бог»; «Подумай о несоизмеримом и рассмейся малому, чем ты занят; вот в климактерологическом периоде, так склонном к заболеванию, едва не заболела жена твоя — и, однако, не заболела же, осталась жива, служит тебе помощницей!..»; «*Не смей осуждать*, не замечай, не высматривай, и *даже видя грех, свои глаза закрой на него*, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко»; «*Я осудил тебя* последним, после стольких лет греха твоего, *когда уже гроб не далек*, чтобы ты сознал себя радостно, а не уныло сошел в него».²⁴

Михайловского потрясли «эти строки, изумительные по наглости и дикой распущенности, как в логическом, так и в нравственном и в грамматическом отношении».²⁵ Назвав Розанова «изувером», он брезгливо присовокупил: «Гнусно прикоснуться ко всем подробностям пустосвятского увещания г. Розанова...».²⁶ Михайловского одновременно возмутила самая возможность появления такой наглой, беспардонной статьи в печати,

²² Там же. С. 127.

²³ Михайловский Н. Статьи о русской литературе... С. 224, 225.

²⁴ Михайловский Н. К. Отклики. СПб., 1904. Т. 1. С. 167—169.

²⁵ Там же. С. 169.

²⁶ Там же. С. 170, 175.

что и побудило его к немедленному и очень резкому ответу «забывшемуся» литератору Розанову: «...г. Розанов не какой-нибудь случайный первый встречный, мнения и поступки которого могут быть несколько не характерны для своей среды или для своего времени. Нет, это человек, имеющий свою аудиторию, своих почитателей, свой круг солидарных людей, что, может быть, и дает ему смелость говорить с гр. Толстым тоном знаменитого архимандрита Фотия (...) Но и то надо заметить: каков бы ни был Фотий как человек, но он был духовное лицо и в этом своем духовном сане почерпал и сознание своей миссии, и обычное право обращения на „ты“, а г. Розанов человек светский и (...) благодати священства на нем нет».²⁷

Вспомнил в связи с бесцеремонным обращением Розанова к Толстому Михайловский, что и он «удостоился однажды чести ни с того, ни с сего получить письмо от г. Розанова (тоже увещательное; если г. Розанов пожелает, я его напечатаю); но письмо это свидетельствует только о том, что г. Розанов считает себя призванным увещевать и делает это в частной переписке хотя и смешно, но не до такой все-таки степени дико, как в печатных статьях».²⁸

Розанов, очевидно, не пожелал увидеть напечатанным свое письмо. Отповедь Михайловского, казалось бы, уничтожила возможность эпистолярных контактов. Но спустя несколько лет Михайловский вернулся к литературной деятельности Розанова, которой попытался дать спокойную и, по возможности, объективную оценку в обзоре «Литература и жизнь» (Русское обозрение. 1899. № 12). Не забылись, конечно, Михайловским и прежние «изуверские» произведения Розанова, о чем он упомянул и здесь: «...мне лишь случайно попадались даже не статьи г. Розанова, а выдержки из них в разных изданиях, выдержки, не только не возбуждавшие желания познакомиться с подлинниками, но окружавшие автора „зоной предубеждения“ для меня. Такова, например, была одна (...) статья, в которой г. Розанов, обращаясь к гр. Толстому „на ты“, с изумительной наглостью призывал его покаяться, ввиду, дескать, близкой могилы, в грехах и вторгался в его интимную жизнь. Такова была еще одна статья, напечатанная в „Русском обозрении“, в своем роде еще более возмутительная. Отсюда — зона брезгливого предубеждения».²⁹ Однако книги Розанова «Литературные очерки», «Религия и культура», «Сумерки просвещения» брезгливого чувства у Михайловского не вызвали: «...перед мною появился писатель во всяком случае чрезвычайно интересный».³⁰ И, с точки зрения Михайловского, «юродствующий», психологически напоминав-

²⁷ Там же. С. 170.

²⁸ Там же. С. 169.

²⁹ Михайловский Н. К. Последние сочинения. СПб., 1905. Т. 1. С. 196.

³⁰ Там же.

ший, должно быть, ему некоторых подпольных героев Достоевского, литератор изломанный, «декадентский», вычурный, капризный. Стилю Розанова свойственно «обилие неожиданных сравнений, иногда совершенно бессмысленных, странные и внезапные выкрики, немотивированные подчеркивания однотипных слов, что-то очень цветное, очень звонкое, иногда и очень сильное, а иногда просто бредоподобное. Этой форме изложения соответствуют и беспорядочные скачки мысли. Они скачут и друг через друга, и через чужие мысли, и от одного произвольно выбранного факта к другому, столь же произвольно выбранному, и через факты».³¹

Оценка не очень-то лестная, но и не уничижительная. Михайловский обнаруживает у Розанова «страницы, блещущие и ясностью значительной мысли, и яркой силою ее выражения», а очерк «В Кисловодском парке» положительно понравился критику: «...истинно разумное и истинно человеческое слово на тему о положении инородцев в нашем отечестве».³² Дал он здесь сдержанную, но тем не менее примечательную характеристику достоинств сочинений Розанова: «Если бы можно было выбрать, выжать из произведений г. Розанова то, что в них есть ценного, то эту выборку или выжимку я озаглавил бы словами: „Не угашайте духа!“». Именно так и именно с восклицательным знаком, символизирующим приподнятый тон статей, их — я готов сказать — вдохновенность (...). Не угашайте духа ищущих, „грядущего града взыскующих“, вы, „сытые эмпирическим содержанием действительности“, не угашайте духа детей, „малых сил“, наваливая на них ненужное и неудобное бремя, вы, неумелые специалисты по фабрикации педагогических систем; не угашайте животворящего духа половой любви, вы развратники, с одной стороны, вы, духовные кастраты — с другой; не угашайте духа народов, вы неумелые или лицемерные „патриоты“. Такова светлая искра, пробегающая по произведениям г. Розанова, разгорающаяся иногда в яркое пламя, но большею частью еле видимая сквозь дым юродства...».³³ Более всего понравилась Михайловскому книга Розанова «Сумерки просвещения»; о ней он пишет весьма сочувственно: «Выше упомянутая искра наиболее выдержана в „Сумерках просвещения“. Это — горячий протест против казенщины, канцелярщины и придуманности наших педагогических систем, и читатель найдет здесь истинно превосходные страницы; в особенности там, где автор, как бывший педагог, выступает во всеоружии опыта и наблюдения».³⁴

Бесспорно, что это самая снисходительная и мягкая статья Михайловского о Розанове. Критик преодолел здесь «зону безрелигиозного предубеждения». И это тут же почувствовал Розанов,

³¹ Там же. С. 198

³² Там же. С. 210.

³³ Там же. С. 210—211.

³⁴ Там же. С. 211.

вновь после большого перерыва решивший написать влиятельному критику. Вероятно, в 1899 году или несколько позднее (точнее определить дату письма невозможно, в нем нет сколь-либо ясных указаний на те или иные статьи Михайловского) Розанов обращается к нему с просьбой.

Милостивый Государь,
Николай Константинович!

Конечно, Вы не весьма расположены ко мне, как и я не всем точкам Вашей деятельности могу сочувствовать; но остаются 3/4 тем, которые могут быть у нас общими и на почве которых мы можем говорить. У меня есть большое сочинение, которое напрасно бы я пытался провести в органах, где обычно участвую: уже и теперь в нейтральных органах, как «Нов(ое) время», я не нахожу «бумаги» для «печати», между тем я вступил в тему, которая жгуче-мучительно меня занимает, и, если я не проведу ее — «умру как Александр Македонский, прикованный к канцелярскому столу». Это тема о поле и половом, жизненном и религиозном *пошменон*'ах,³⁵ как я угадываю, как почти могу доказать, как хочу доказывать. Вот я «как листочек дубовый» и подкатываюсь под «корень» «Русского богатства», моля с тоской глубокой

— в частности и особенно Вас, ибо тут прежде всего Вы можете понять и согласиться. Конечно, ни капли «монархического» и «православного» у меня не будет; да и вообще все эти старые темы, за которые я

кровь аки воду лях и лях

— ввиду новой совершенно мною овладевшей темы — просто забыл и, вероятно, никогда к ним не вернусь как скучным и, так сказать, без «влаги» и «будущности». Сочинение мое очень обширно, но ни *в одной точке не скучно*; т. е., вбирая новые и новые колосья в жернов, — мелет новую и новую муку. С «головой до пяток» консерватором я никогда не был, и с теми рациональными во мне чертами — которые *всегда* были — почему не слиться бы «Чинаре» «Русск(ого) богатства», тем паче что эти рациональные точки по объясненной выше причине будут расти, а не умяляться. В консерватизме нет *вины* и, след(овательно), нет будущности: вот пункт, на коем я от него особенно и преимущественно теперь — отпадаю; он «держится», «стоит»; есть «status quo»; все его добродетели и «свет души» напоминают «бабье лето» (застоявшаяся хорошая осень), и вот отчего, продолжая держать голову у стоп Алекс(андра) III и креститься, проезжая мимо церкви, — я попускаю в душу типично новые мысли, «из другого мира».*

³⁵ «Ноуменон» — основное в философии Канта понятие: «...вещь тою стороною своею, которую от нас скрыта и вместе которою существенна», — пояснение Розанова в статье «Семья и жизнь» (Розанов В. В. Религия и культура. М., 1990. С. 213).

Будьте добры, прошу Вас известить меня, может ли быть «разговор» о моем участии в Рус(ском) бог(атстве); может ли быть он до такой степени, чтобы мне даже не лишнее привезти и статью? Если *да* — назначьте мне время; — я ожидаю встретить в Вас того *простого* и *проницательного* человека, каким не всегда, но часто, любил Вас как писателя.

В. Розанов.

Адрес: Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2, кв. 24. Василию Васильевичу Розанову.

Могу я быть, по причине службы, только вечером.

* Только с одним, «с алчностью» души человеческой, «спенсеровщиной» — я не могу до скрежета зубовного согласиться; но «ниточки» мистического витают ведь и в вас — и опять тут мы можем «говорить». По мне, радикализм получит и неопределенно далекое будущее, как только, не отрекаясь от экономических и юридических вожделений, он обогатится именно вещами «не от мира сего». Ибо в конце концов «лик исторический» построен на «столпах» «не от сего мира», и все что их обходит или ими небрежет — *eo ipso*³⁶ обречено на мелкость и недалекость течения; посмотрите, как недалеко потекла революция 89—93 года: через 100 лет — ее *специфических* следов уже нет: ибо «анархия» — это не она, это ее помой скорее.

Это письмо Розанова очень приблизительно можно датировать 1899 годом, незадолго до того как он оставит тяготившую его службу в Государственной конторе. А предлагает Розанов «Русскому богатству», скорее всего, какую-то из статей, вошедших в книгу «В мире неясного и нерешенного» (первое издание вышло в 1901 году). Используя образы стихотворения М. Ю. Лермонтова «Листок»,³⁷ Розанов уподобляет себя «бедному листочку дубовому», а журнал «Русское богатство» — «высокой» и «молодой» Чинаре, прося, так сказать, литературного прибежища, уверяя, что в его статьях не будет ничего «православного» и «монархического».

Получив столь странное письмо, Михайловский незамедлительно ответил — иного и быть не могло — отказом, о чем с обидой рассказал Розанов в «Биографических сведениях для Нижегородской губернской ученой архивной комиссии»: «Мне ужасно надо было, существенно надо было протиснуть „часть души“ в журналах радикальных. В консервативный свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в „Русском богатстве“; я бы

³⁶ Вследствие этого (*лат.*).

³⁷ Цитирует (усеченно и неточно) Розанов и внутренний монолог Печорина; в романе Лермонтова: «...гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума...» (*Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4-х т. Л., 1981. Т. 4. С. 266*), а также балладу А. К. Толстого «Василий Шибанов».

им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: „Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале”. Мне же этого ничего не приходило в голову». ³⁸

В 1902 году, после смерти Г. И. Успенского, Розанов пишет Михайловскому еще одно письмо, извиняясь за некоторые бестактные слова, сказанные о покойнике в давнем письме.

М. Г., Николай Константинович

Прошу Вас извинить меня за мелочность беспокойства, Вам причиняемого и не вытекающего из Вашей, а только моей нужды. Вчера П. П. Перцов мне сказал: «Дайте-ка книгу „В мире неясного и нерешенного”, ее спрашивал (посылал купить) Михайловский в магазине „Нового времени” — а там нет». — «Как, когда там склад издания». — «Да верно ли?». — «Вполне верно». — Тогда я написал управляющему магазина письмо с некоторым раздражением, — но как могут для продавцов и приказчиков выйти неприятности, то решил и позволяю себе предварительно у Вас спросить, справедливо ли, что посланному Вами человеку в магазин Суворина ответили, что книги «В мире неясного и нерешенного» в продаже нет. Не откажитесь уведомить об этом *одной срочной* по адресу: В. В. Розанову, Шпалерная ул., д. 39, кв. 4.

Несколько лет назад я Вам написал письмо, содержащее укоры Гл. Ив. Успенскому, ныне покойному. Не могу себе простить безумия, — а пожалуй, и легкой (или замутившейся) совести, с коими я мог сделать упреки (хоть косвенные и далекие) человеку столь праведному, — прямо сказать герою народному; человеку столь *здоровому* умственно. Я тогда писал (Вам), что слышал будто он (больной) «везде слышит трупный запах» и это связывал с его миросозерцанием. Все это возмутительный вздор (в моих словах), но мне материалисты казались как бы съевшими мир и уж я не знал, кого и как порицать. Жалею об этом, хоть, конечно, и поздно. Вообще, мне кажется, все у нас перестанавливается и долго «своя своих не познаша». — И лично я Вам делал укоры в самолюбии; но разве у меня нет недостатков личных! которых в себе не чувствуешь именно потому, что они слишком внутренние, «свои», «родные». Итак — и это пустое; Вы сделали очень много добра, может быть, не с тем святым порывом, как Гл. Ив ... а, впрочем, души опять не будем судить. Трудились, — а след(овательно), достойны. Боже, до чего забыт бедный Страхов! Какая судьба! Один его старый друг и мой на это удивленье сказал: «Да ведь никто так не старался скрыть подлинные свои мысли, как Николай Николаевич!». Мне кажет-

³⁸ Цит. по предисловию Е. В. Барабанова к кн.: *Розанов В. В. Религия и культура*. С. 7—8.

ся, это остроумно. Вы, кажется, знаете Вл. Сер. Миролубова — Какой чудесный человек. И Викт. Острогорского я ругал, оказывается, — у него, при бедности, была в Валдае школа и очень любящая жена. Любовался я 2 года назад на Волковом и памятником, кажется, Елисееву — с бюстом старушки на его памятнике: единственное сочетание мною в жизни виденное. Нет, «нигилисты» умеют любить и привязываться. Ну, простите за утомленье читать это письмо. Ваш «и так и эдак» В. Розанов (все *Ваши*, но не *Миролубов* о Вас говорят* как об очень *холодном*, безразличном человеке, и знаете, это не очень располагает...)

* Впрочем, это я давно слышал.

Михайловский ответил на это отчасти покаянное письмо Розанова, который в «Уединенном» вспоминает его³⁹ в связи с публикацией статьи Ч. Ветринского (В. Е. Чешихин) «Молодость Глеба Успенского. Биографические заметки» (Русская мысль. 1911. № 6, 7): «Он (Успенский. — В. Т.) был друг Некрасова и Михайловского. Они явно не только уважали, но и любили его (Михайловский в письме ко мне)». Откликнулся Михайловский и на книгу Розанова, да таким образом, что Розанов, наверное, тысячу раз пожалел о своих наивных хлопотах по доставке ее литературному мэтру.

Михайловский подверг книгу «В мире неясного и нерешенного» безжалостному, ироническому, даже отчасти издевательскому разбору в августовском обзоре «Литература и жизнь» (Русское богатство. 1902. № 8) — «О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии. — Несколько слов о г. Мережковском и Л. Толстом». «Маханальность» — это производное от словечка персонажа пьесы Островского, что пояснил автор в тексте статьи: «...писал именно с разбегу и без оглядки, „маханально“, как говорит один купец у Островского».⁴⁰ Слово, считает Михайловский, метко характеризует безответственный и бредовый стиль литератора Розанова. Правда, Михайловский и на этот раз обнаруживает небольшие и локальные достоинства в отдельных сочинениях Розанова, но с очень существенными оговорками и не переставая иронизировать и насмехаться: «...г. Розанов решает с своей точки зрения некоторые житейские вопросы (о разводе, о незаконных или, как ныне называет их законодатель, внебрачных детях, об истинном целомудрии), причем обнаруживает — что бы ни говорили его

³⁹ Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 226. Но вспоминает, недоброжелательно искажая факты, так резюмируя: «Но тогда почему же не помогли ему? Что это за мрачная тайна? То же, как и у буржуа, и ни до них, ни до судьбы их мне дела нет; но и простая пропись и простой здравый смысл кричит: „Отчего же это фабриканты должны уступить рабочим машины и корпуса фабрик — когда решительно ничего не уступили: Герцен — Белинскому, Михайловский и Некрасов — Глебу Успенскому“» (там же).

⁴⁰ Михайловский Н. К. Последние сочинения. СПб., 1905. Т. 2. С. 237.

оппоненты — много здравого смысла и гуманности, хотя и облакает их, к сожалению, подчас в свойственную ему сумбурную форму <...> Здоровая и разумная часть писаний г. Розанова — его отношение к аскетизму и связанному с ним лицемерию или страданию, и вытекающие отсюда практические выводы о разводе, о внебрачных детях и проч. — отнюдь не составляют какой-нибудь новости в русской литературе <...> Нов лишь антураж, обстановка, в которой здравые мысли являются в изложении г. Розанова. Быть может, для известного круга читателей важно и полезно, что мысли эти подкрепляются у него словами Ветхого и Нового Завета, — об этом я не берусь судить. Но обо всем остальном можно сказать старинным изречением: все хорошее здесь не ново, а все новое — нехорошо. Мало сказать: нехорошо. Хорошее у г. Розанова совершенно завалено сумбурно-ноуменальными сугробами, через которые читателю приходится перебираться, ежеминутно увязая по пояс. Сам-то г. Розанов летает по этим сугробам с изумительной легкостью. На то у него „крылышки” и „ветерок” ... я хотел сказать: ветерок в голове, но вспомнил, что голова, по толкованию г. Розанова, тут не при чем, а все дело в „знаках пола”». ⁴¹ :

Вот в таком ироническом и памфлетно-пренебрежительном тоне и была выдержана вся статья Михайловского, которого явно развеселила попытка Розанова «теитизировать пол и сексуализировать религию» и его особое пристрастие к разговорам о предметах неудобосказуемых, — то, что в критике окрестили «философической порнографией». Не в этом, однако, видит Михайловский «неприличие» как Розанова, так и тех редакций, которые «безданно, беспошлинно пропускают его писания». «Неприличен он прежде всего своею нечистоплотною маханальностью: той развязностью, с которою он пускает в обращение небывалые факты собственного сочинения <...> тою небрежностью, с которою он пишет „первые попавшиеся слова”, не давая себе труда в них вдуматься, и даже прямо и просто бред свой печатает. Все это гораздо неприличнее, чем, например, явиться в общество в халате или с изъянами, вроде незастегнутых пуговиц там, где им полагается быть застегнутыми. Костюм есть дело условное, халат для европейца и азиата не одно и то же, тогда как выплескивать на бумагу для всеобщего сведения всякий вздор всегда и везде одинаково нечистоплотно; нечистоплотно, недобросовестно и оскорбительно для читателя. Есть очень „знойные потребности”, которые, однако, всенародно не удовлетворяются. Г. Розанов не знает в литературном отношении никаких границ. Помните, например, как он однажды обратился к Толстому с нотацией, одинаково изумительной как по форме, так и по содержанию: он печатно

⁴¹ Там же. С. 240, 251—252.

говорил с „великим писателем русской земли” на „ты” и рылся в интимнейших подробностях его личной жизни». ⁴²

Это была уже не просто резкая полемика (как раз полемики, собственно, здесь очень мало), а приговор, вынесенный авторитетнейшим критиком и публицистом. Михайловский, по сути, ставит точку в последней из затянувшейся «розановской» серии статей. В следующих статьях в рубрике «Литература и жизнь» (Русское богатство. 1902. № 9 — «О г. Мережковском. — О жестокости, сладострастии и проч.»; № 10 — «О Достоевском и г. Мережковском» Михайловский пишет о Розанове совсем немного, мельком и между прочим.

Но Розанов прочел все эти статьи, на которые и откликнулся немедленно в крайне раздраженной и потому сумбурной манере. Он приводит цитаты из произведений Достоевского (по книге Мережковского «Религия Толстого и Достоевского»), поражаясь тем, что Михайловский совершенно игнорировал их, и сам тут же взволнованно рассуждает о «язычестве русизма», «пылавшем» в Достоевском, религиях-родинах, православии и Лютере; в частности, пишет, что «Достоевский понятен, как эмбрион славянского Лютера, тоже пытавшийся оторвать родину вообще от „сгнившего запада”, ига „инога бога”, „не нашего” и уже eo ipso проклинаемого». ⁴³ И после этого эмоционального очерка национально-религиозного миросозерцания Достоевского Розанов суммарно заключает, не касаясь содержания статей Михайловского: «Какая масса света! А Михайловский шипит около него какую-то неудавшуюся ракетой. Ни света, ни красоты; только мальчикам позади фейерверка потеха». ⁴⁴ Розанов, очевидно, был очень огорчен, и ответ Михайловскому получился неудачный (как и название статьи — «Счастливый обладатель своих способностей»): все сводилось к повторению одной и той же незатейливой мысли: критик «загубил» три месяца своей жизни, сочиняя критику «на две ему непонятные или им непонятые книги». ⁴⁵ И рассуждения о Достоевском оказались в статье топорно привязанными к этой слишком уж простой мысли. Обсуждать эти вопросы с публицистом, многократно заявлявшим, что они его совершенно не волнуют, было занятием бессмысленным. Михайловский не мог и не желал отказываться от основных мыслей статьи «Жестокий талант», в том числе и от вызвавшего критику эпитета «жестокий»: «Когда -то я назвал Достоевского „жестоким талантом”. Слово это вообще, кажется, привилось, но время от времени раздавались против него негодующие голоса. Мне ни разу, однако, не попадались какие-нибудь возражения, опровержения, что-нибудь доказательное и мотивированное. Видно, что

⁴² Там же С. 239.

⁴³ Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 108.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же. С. 106.

слово не нравится, но никто даже не попытался объяснить, почему оно не нравится, и тем менее доказать, что оно неверно».⁴⁶ Михайловский, конечно видел, что «звезда Достоевского, по-видимому, вновь загорается, и он может стать предметом такого же слепого увлечения, какими у нас в разное время были и есть Дарвин, Толстой, Маркс, Ницше»,⁴⁷ но оценить и осмыслить этот поворот к Достоевскому он был не в состоянии. Пространные статьи о книге Мережковского написаны вяло, перегружены цитатами из произведений Достоевского. Самое ценное в них — попытка очертить «некоторые пункты сходства и различия между Ницше и Достоевским»;⁴⁸ однако об этом Михайловский уже писал — и гораздо интереснее — в целом ряде статей 1890-х годов.

Закономерно, что Розанова статьи Михайловского сильно разочаровали. Они очень наглядно продемонстрировали, что диалог с критиком-народником о Достоевском и других вопросах был невозможен. Михайловский и Розанов в сущности говорили на разных языках, а «переводчика» у них не было. Слишком очевидно стало, что Михайловский не желал больше никаких контактов с беспринципным и «маханальным» литератором, которого отделяла от него «зона безразличия и предубеждения», — ни эпистолярных, ни журнально-полемических. Розанов очень его задевшей статьи Михайловскому не простил; все его последние суждения о Михайловском — человеке и литераторе — не просто тенденциозны, но враждебны и памфлетны (за немногими исключениями, вроде некролога «Февральские потери» в «Новом времени» (1904. 3 марта), но там жанр диктовал тон): «робкий человек»; «никто в литературе не представляется таким „естественным Судейкиным“, с страшным честолюбием, жаждой охвата власти, блестящим талантом и „большим служебным положением“»; «лакей-Михайловский», к которому на поклонение почитали за долг являться «нигилисты»: «К „Николаю Константиновичу“ на зимнего и весеннего Николу (праздновали именины два раза в год) съезжались не только из Петербурга, но и из Москвы литераторы; из Москвы специально поздравить приезжал Горький (как-то писали), и курсистки — с букетами, и студенты — должно быть, пролепетать свою „оппозицию“ и „поздравление“; и он раздавал свои порицания и похвалы, как возводил в чин и низвергал из чинов».⁴⁹ И т. п. Правда, в статье 1918 года «С вер-

⁴⁶ Михайловский Н. К. Последние сочинения. Т. 2. С. 266. А эти упреки исходили не только от Розанова и Мережковского. С. Н. Булгаков, в частности, писал в статье «Венец Терновый»: «Критиками своего времени (за совершенно единичными исключениями) Достоевский был мало понят, и даже проницательный Михайловский отнесся к нему поверхностно-публицистически, увидев в нем лишь „жестокий талант“» (Булгаков С. Н. Соч.: В 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 233).

⁴⁷ Михайловский Н. К. Последние сочинения. Т. 2. С. 298.

⁴⁸ Там же. С. 307.

⁴⁹ Розанов В. В. Уединенное. С. 446, 455, 515, 528.

шины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы)» Розанов тепло вспомнит некогда внимательно им читаемую хронику «Литература и жизнь» («очень замечательное название на этот раз гениальных — именно в удаче названия гениальных статей Михайловского»),⁵⁰ но то будет уже ностальгическое воспоминание об ушедшей в прошлое России; многоголосие прежнего времени исчезало на глазах — и литературу, и жизнь загоняли в «лагерь» потомки именно тех «бесов», за которых некогда «ухватился»⁵¹ Достоевский в своем провидческом романе.

⁵⁰ Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 667.

⁵¹ Напомню, что Михайловский в статье о романе так поучал Достоевского: «Вы не за тех бесов ухватились» (Отечественные записки. 1873. № 2. Отд. 2. С. 342).